

Общая газ — 1997 — 19-25 июня — с. 16 Нам остается только имя: чудесный звук на долгий срок

Мариэтта ЧУДАКОВА

Трудно другому объяснить свою юность. А не объяснив — не найдешь и слов, способных передать, что изменили в ней когда-то песни покинувшего нас теперь пения.

Как рассказать, что подобно тому, как вода некогда не отделилась от тверди, так не отделилось очевидным образом добро от зла?.. И песни Булата повели неустанную работу этого различия. Говорю не о поколении (мы были разные) — говорю о себе. А ведь он совсем не морализировал. В стране советов, где все бед конца учили, учили всех и каждого, он ничему не учил. «...Кепчонку, как корону...». «И птицы ошалелые летят...». «Верши по бульварам круже-

ны...». «Ситцевые женщины толпою...». Собственно — завораживал. Пора бы понять, чем именно, — словами ли, мелодией, голосом, растягивавшим слова в неожиданном месте?.. Несомненно одно — не вступая в спор в застрявшей во всех углах идеологии, он преодолел ее поэзией.

Также трудно объяснить сегодня, что за читатель-слушатель перед ним оказался. Во второй половине 1950-х в «Литературной газете» еще во всю шел ликебз для советского читателя, ошалело озирающего постсталинский пейзаж. Несколько критиков коллективно, в дружном соавторстве искали слова, чтобы объяснить, наконец, соотечественникам, что стихи могут быть про любовь и что это не плохо, а, наоборот, хорошо. (Нисколько не преувеличивая.) Объясняли, помнится, почему-то на примере маршакских переводов из Роберта Бернса.

«И муравей создал себе богино по образу и духу своему». Скорее шепило, чем понималось. Но нельзя было и записать в непонятное, элитарное, не для нас писанное, оставленное автором в рукописях или даже в публикациях для заведомо узкого круга. Читателю, замордованному специализированно-советским представлением о стихах, предполагалось нечто сложное, глубоко свое, но смягченное мелодией, самим явлением пения — и, значит, прямым вовлечением слушателя в текст. Необычные строки пелись, то есть обращены были к тебе — каждому, любому: имеющий уши да слышит.

Первые звуки этих песен послышались в тяжелой тишине, наступившей вслед за последними раскатами «нобелевской» истории Пастернака. Вообще эти несколько лет — между осенью 1956-го и началом 60-х — были годами мучительных усилий всей пензенской куль-

туры, словесной особенно. После нескольких лет «оттепели» дождно холодно. Надо было как-то пролить таяние московских снегов. Дыхание поющего Булата было одно время едва ли не единственным источником необходимого всей культуре тепла. История с печатанием романа Пастернака за границей и непечатания в отчете расшатала что-то существенное в советском монолите: проложила резкую ценностную черту, отделившую официальное-печатное-неценное от непризнанного-непечатного-ценного. Не в пении даже — в самом существовании Булата был непрерывный вызов той силе, функцией которой была цензура. Понятно было, что и стихи, и романы можно писать в стол. В самом сочинении песен уже заключена была прямая апелляция к нам, грешным, — поверх цензуры. Он и нас делал смелее — даже слушая его, мы как бы игнориро-

вали опорные установления власти. Обнародуя сочиненное без всяких посредников, Булат Окуджава неутомимым шагом пехотинца двигался к новому времени и нас туда вел. Помимо непосредственной радости слушать его был и этот постоянный пафос во встречах пения с неизменно завороженными слушателями. Полное всего этот пафос — для меня, во всяком случае, — воплощен был в «Веселом барабанщике». Несчитанное число раз бормотала я его строки на бегу в университете, в библиотеку; иногда кажется, что в моей жизни что-то сложилось бы не так без помощи этой песенки.

За несколько лет до Булата гитара звучала по московским дворам. В моем огромном сокольническом дворе в сумерках мальчишки собирались на скамейке вокруг Фильки-амнистрированного (отсидевшего восемь лет за свои полбуханки черного), слышались однообразные ак-

корды, пение вполголоса, слов разобрать было нельзя. Это бесценное дворовое пение еще и в начале 60-х мешало взрослому советским людям говорить, что бесконтрольное может иметь отношение к искусству... Помню споры со старшими: «Ты это всерьез?.. Окуджава ваш — это же пошлость, блатные песенки...» Дело прошлое.

«Песенка о Моцарте», услышанная впервые в 1969-м, в Большом зале ЦДЛ, невозможность и тогда, и позже сдержать слезы. Только-только начинались отъезды, прощания навсегда. А Булат все пел и пел, здесь, в неласковом нашем отечестве, не сотворяя кумира «из грехов своей родины вечной», но и не перебирая иные земли для новой жизни. «Моцарт отечества не выбирает...» — можно и иначе понять эти строки, но всегда я слышала их из уст Булата только как удостоверение того, что он — здесь, навсегда с нами; в

чувствах своих мы невольны. Но он пел и о путях, которые так легко летают в нашей России, он, как мало кто, представлял себе, что «пуля дырочку найдет», жесткость нашу друг к другу, он знал, кажется, все.

Видно так, генерал: чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадает, — кто сказал о нас самих острее и точнее? разве что слова вдумчивого наблюдателя-чужеземца приходят на ум — «Русских могут победить только русские».

Талант как-то ухитрялся уживаться в нем с неизменным здравомыслием. Политиком не был, но политики могли бы позавидовать его стихотворные суждения для приведения в нужной строю своей нередкой мыслительной сумятицы: «Запад, конечно, для нас не пример. Впрочем, я не вижу лучшего примера...» «Умер, бедняга, в больнице военной...» Прости, Булат.

Александр ВОЛОДИН

Это был даже не друг мой, а божество мое. В начале шестидесятых в Ленинград приехали голодные московские поэты, после их вечера мы все пошли выпивать в «Октябрьскую», и кто-то попросил: «Булат, спой!» Он поставил ногу на стул, взял гитару и начал... Первый раз в моей жизни я заплакал, слушая песню.

Потом он уехал, а я стал всем рассказывать, какое это было чудо. И вскоре назначили его первым в Доме искусств. Я звал на него друзей и просто знакомых. Меня спрашивали:

- Что у него — голос хороший?
- Не в этом дело.
- Стихи хорошие?
- Не в этом дело.
- На гитаре играет хорошо?

Да не в этом дело! Это просто было то, что диктуется свыше. Свыше.

На этот раз большой зал был набит битком. Стоя за еще закрытым занавесом, он волновался и просил не представлять его как композитора, потому что это «никакая не музыка». Помню, как

все были ошеломлены, когда наконец зазвучала эта «не музыка».

Все, что мы пишем, мы пишем о себе — говорил он. Он вкладывал в свои стихи и душу, и биографию. Биографии стихи схожи: он рано ушел на войну, а тоже, он был школьным учителем в деревне, я тоже, он довольно поздно начал писать, я тоже... Но вот в чем мы были совсем непохожи... Когда я раненый лежал в госпитале и думал, что помираю, ко мне подошла сестричка и спросила: что, сладкого-то небось и не знаешь? Я и впрямь не знал. А он как будто всегда знал, как прекрасна ее Величество Женщина.

Он был тем, кто воссоздал единство поэзии, соединил ее разрозненные части — музыку, смысл, дух — и сделал ее такой, как во времена Орфея.

И всех, всех нас, таких разных, он тоже объединил, вошел в состав наших душ. Как-то я вел его вечер и видел, как менялись люди в зале, пока он пел. И я сказал: как хорошо, что у вас стали такие глаза. Носите эти глаза!

Петр ТОДОРОВСКИЙ

Я был первым, кто пригласил Булата Окуджаву в кино. Замысел родился, когда я прочел повесть «Будь здоров, школяр!». Во время войны нам обоим было по девятнадцать: он писал о своей войне, я хотел снять фильм о своей курсантской юности. Почти целый год в Одессе, Москве, Ленинграде мы корпели над сценарием будущей «Верности».

Однажды мы сильно разругались. Булат жил тогда в Ленинграде, бедствовал, знакомые тайно пересылали ему из Москвы какие-то переводы для подработки. Каждый день с восьми утра до трех дня Булат занимался переводами. Я приехал писать сценарий и пытался объяснить, что моя голова тоже имеет обыкновенные варить только по утрам. Булат не реагировал. Я посидел дня три и потихоньку уехал. Кстати говоря, в этом фильме Булат даже снимался, но его часть так и не попала в окончательный вариант картины.

Между прочим, в подготовительных материалах запрещали писать фамилию Окуджавы, наш сценарий шел за под-

писями Андреева и Тодоровского. На одном из пленумов первый секретарь обкома партии произнес: «Мне доложили, что на Одесской киностудии появилась якаясь Окуджава, антисоветница или антисоветчик». Он даже не представлял, мужчина это или женщина!

С течением времени наша дружба стала более телефонной. Но нет-нет, да и раздавался неожиданный звонок. Мне сделали операцию на сердце спустя год, после того как аналогичную операцию перенес Булат. И наши телефонные беседы стали более «профессиональными»: что из лекарств пьешь, как помогает.

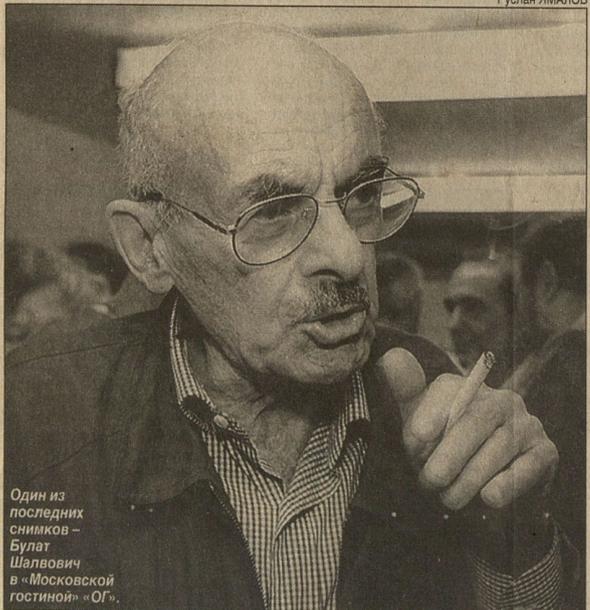
Булат всегда, а особенно в последние годы, был человеком замкнутым. Не случайно стихи он всегда писал скрючившись, поджав ноги. Говорил, что по-другому «не пишется». Тогда, в молодые годы, он сочинял по стихотворению в день. Когда два года назад я спросил: «Что пишется?», Булат ответил: «Так, кропаю прозу. Стихи — не могу».

Булат Шалвович! Булат! Дорогой! На днях нашел странички, написанные к твоему юбилею в 84-м году. После наших встреч на случайных перекрестках. Но как-то вышло, что тогда так и не написали. А потом был еще один твой юбилей, который справляли мы вместе в нашем театре «Школа современной пьесы». А месяц назад ты сказал мне по телефону, что работаешь, но ни-

куда не выходишь и никого не видишь. Ты сказал, что у тебя странный синдром — на тебя переходит любая чужая болезнь. Ты беззащитен. Сейчас я думаю, что ты давно болен этим — ты берешь на себя чужую боль. И общую боль. Это очень трудно.

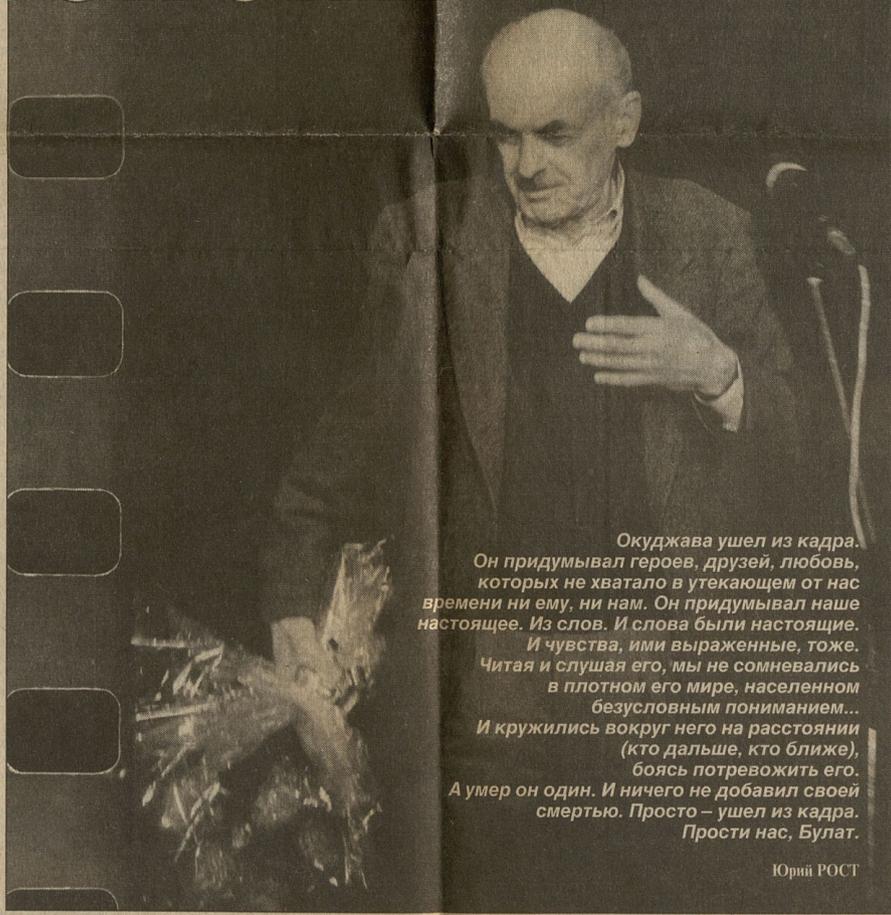
Теперь ты так далеко. Так далеко, что и не докричаться. Не будем кричать. Помолчим минуту.

Руслан ЯМАЛОВ



Один из последних снимков — Булат Шалвович в «Московской гостинице» «ОГ».

Конец прекрасной эпохи



Окуджава ушел из кадра, которых не хватало в утекающем от нас времени ни ему, ни нам. Он придумывал наше настоящее. Из слов. И слова были настоящие. И чувства, ими выраженные, тоже. Читая и слушая его, мы не сомневались в плотном его мире, населенном безусловным пониманием... И кружились вокруг него на расстоянии (кто дальше, кто ближе), боясь потревожить его. А умер он один. И ничего не добавил своей смертью. Просто — ушел из кадра. Прости нас, Булат.

Юрий РОСТ

Юрий КАРЯКИН

Для меня Булат — это человек, поэт, который больше всех — в наше-то время — вобрал в себя пушкинского света, точнее всех его сфокусировал и щедрее всех сумел передать его нам.

Самый пушкинский поэт и в прозе своей. Но мыслит ли Пушкин без Лицей? А вот Булат и возродил Лицей как духовное братство, душевное дружество и, одновременно, как культ личного достоинства, как простой символ несправедливости — самого себя и других. Там, тогда Пушкин — здесь, сейчас Булат — вот почти физическое ощущение.

Л. Толстой детски-мудро советовал: как сплоченно и «хорошо» действуют люди дурные и как дурно раздвинуты люди хорошие.

Лицей — это и есть, если угодно, «заговор» хороших людей против зла. Заговор идеала.

А все-таки никакие «глушилки» не могли заглушить этот тихий, мягкий, незлобивый голос совести Булата.

Поэт Ю.В. Андропов — именно из-за таких, как Окуджава, Галич, Высоцкий, Ким, — вздумал резко сократить производство магнитофонов (!)... Удивительно еще, что его поэтическому воображению не хватило догадаться: объявить конкурс на изобретение такого внутреннего магнитофонного цензора, который бы записывал только все «советское», а все «антисоветское» стирал, да называл бы еще имена «антисоветчиков» («антисоветчиной») считалась тогда прежде всего — совесть!...

Я попытался подсчитать, сколько своих стихов посвятил Окуджава своим друзьям: сбился со счета — десятки. Вл. Высоцкому, Ю. Домбровскому, Ю. Давыдову, Белле Ахмадулиной, Ст. Крахмальниковой, Ф. Искандеру, Ст. Рассадину и Б. Сарнову, конечно, Никитинку, Ю. Киму, Елене Камбуровой, Веронике Долиной... Не сумеем, не смогу перечислить всех — простите. Десятки только названных лиц.

А сколько — неназванных, которые воспринимают его как свой Лицей?

Сегодня он снова объединяет нас всех в скорби, как единил в надежде, казалось бы, в самые безысходные времена.

Есть — и навсегда будет пушкинский Лицей. Но есть, есть и пушкинско-булатовский Лицей.

Заключу стихами — песней одного из самых любимых лицезетов Булата, может быть, самого солнечного из них: — Юлия Кима. Он, Ю. Ким, и композитор В. Дашкевич как раз всегда и исполняли ее — именно в честь Булата Окуджавы:

...Все бы жить, как в оны дни,
Все бы жить легко и смело,
Не высчитывать предела
Для бестрашия и любви
И, подобно лицеистам,
Собираться у огня
В октябре багрянцелистом
Десятинадцатого дня.
Нет нашего главного лица.
А тем, кто остался, — дай Бог здоровья
и дней подольше.

Во вторую годовщину смерти Лена Карпинского в его доме собрались друзья. Разумеется, речь зашла о болезни Окуджавы. Все были опечалены, но никто не думал о худшем. Зная, как тоскливо в любой больнице, сочинили телеграмму в Париж.
Дорогой Булат!
Собравшись в доме Лена Карпинского два года спустя, мы весь вечер пели твои песни. Любя тебя и желая, чтобы ты был с нами. Желаем тебе здоровья, мужества и хотим выпить с тобой рюмку.
Яков Аким, Тимур Гайдар, Егор Яковлев, друзья.
Пока договаривались об ее отправке с нашим послом в Париже Юрием Рыжовым, пришла ошеломительная весть: Булат умер. Умер в один день с Леном, которому когда-то посвятил стихи, сегодня публикуемые впервые.

Л.Карпинскому

Шестидесятники развенчивать усатого должны, и им для этого особые приказы не нужны: они и сами, словно кони боевые, и быют копытами, пока еще живые.

Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех? Не зря кровавые отметины видны на них на всех. Они хлебнули этих бед не понаслышке. Им все маячило: от высылки до вышки.

Судьба велит шестидесятиникам исполнить этот долг, и в этом их предначенье, особый смысл и толк. Ну а приказы, влюбленные в деспота, пусть огрызаются — такая их работа.

Шестидесятикам не кажется, что жизнь сгорает зря: они поставили на родину, короче говоря. Она, конечно, в свете о них забудет, но ведь одна она. Другой у них не будет.

10 октября 1989 г. Б.Окуджава

Андрей СМЕРНОВ

169

Я не пророк и не знаю, будет ли жить поэзия Окуджавы, или память о ней исчезнет с мом поколением. Но я уверен, что, хотя это поколение дало целую плеяду блестящих поэтических талантов, — наиболее лиричным человеком 60-х был Булат Окуджава. Наши дети даже не в состоянии себе представить, насколько неожидан был его голос. В нашей, избобу-

ющей ограничениями — не только идеологическими, но и чувственными, — жизни. Поэзия Окуджавы — это веки внутреннего освобождения целого поколения, а вместе с ним и страны. И Окуджава не изменил себе до конца: в последних стихах он признается, что свобода оказалась совсем не такой, как мы все ожидали.

Александр ГЕНИС

Впервые я увидел его в Риге восьмилетним, последний раз — в Москве, в 93-м, когда мне удалось сказать Окуджаве, что 25 лет не стерли в моей благодарной памяти ни ноты из его песен.

В эти четверть века уложился столь бурный этап отечественной истории, что нормальной державе его хватило бы на несколько поколений. Немудрено, что в буйстве политических страстей уцелело так мало репутаций. Однако песни Окуджавы счастливо пережили смену вех, легко и изящно перешагнув планку, которую другим было не взять и с шестом. Все эти годы Окуджава, как дерево, рос, не меняясь. Пустив корни в прошлом, этот архаичный шестидесятник так и не ото-

рвался от им же во многом и созданной эпохи. Певец ее мушкетерской этики, Окуджава всегда писал лишь о том, что любил. А любовь ведь и правда побеждает все, в том числе и время.

В том же 93-м я видел, как гулял в «Арагии» чей-то телохранитель — камуфляжные штаны, то ли пистолетом, то ли бумажником топорищится пиджак, в руке мобильный телефон, от которого он отрывался, даже закусьвая. Именно этот очаянный персонаж заказывал оркестру, глотая пьяные слезы, «Виноградную косточку в землю зарю».

Видно, не так просто поврать связь времен, которую скрепил своими песнями Булат Окуджава.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Булат Окуджава прошел очень сложную эволюцию. С теми иллюзиями, которые были у всех нас, он расстался раньше всех. Мы были моложе и не помнили — не чувствовали то, что чувствовал он, ребенок из семьи врага народа. Он стал первым, кто развенчал идеализацию Ленина. Но он был абсолютно честен и искренен в своих песнях, проникнутых революционным романтизмом.

Я называл Булата «Чехов с гитарой». Из всех нас он был, пожалуй, самый непримиримо-резкий как человек, но мягкий как

художник. Он возмущался моей поэмой «Казнь Степана Разина»: «Какого черта ты пропавляешь этого разбойника, подлая ешьна нашему навязшему в зубах фольклору». У меня не было такого жесткого обвинителя и такого же защитника, как Булат.

Сегодня говорят, что Булат в последнее время чувствовал себя одиноком. Да если человек любит хотя бы одного человека, он уже не одинок! А Булат до последней минуты так о многих говорил хорошо.

Редкое было у него качество — он умел радоваться самому малому.

Татьяна БЕК

Умер Булат Окуджава — самый сильный, нежный, пронзительный голос нашей, в корчах ушедшей, эпохи. Голос этот звучал, звучит и будет звучать, — «что всех полюбозать, потерпевших в ночи, крушение, крушение...».

Он был, пожалуй, последним подлинным романтиком в России XX столетия. Он с достоинством и без суеты перенес и запреты цензуры, и бурную славу, и небла-

годарные жестокие упреки новой стилистической корректуры, на которую хотелось ответить его строками: «В миг расставания, в час платежа, в день увядания недели, чем это стала ты нехороша? Что они все, одурели?»

Булат, все, что было написано и пропето Вами, нетленно и останется с людьми. Впрочем, со смертью Вашей это не примиряет и человеческой боли не утешает.

Елена КАМБУРОВА

Он пришел к нам, стяхнув с юного лица пыль военных дорог, рука об руку с великой мечтательницей Надеждой, обратив в Веру и Любовь свое зрение и слух. Время распахнуло перед ним свои ожидающие руки. А мы со светлой растерянностью перед неожиданным взглядывались в этот Дар. Что там?

Мы отрешенно потянулись к нему. Он поднял нас и понес к неведомой сути, где

все затихло, улеглось и радостно оглушило возможностью быть самим собой, обрести душевную энергию в его тональности.

Прекрасно понимаю, что МЫ — это далеко не вся сегодняшняя Россия. Но Боже мой! Как нас все-таки много в ней! Как напомним мы на духовное ее возрождение, на приход другого Времени, которое Дар Булата Окуджавы примет как оправдание сегодняшних дней.

Полосу подготовила Юнна ЧУПРИНИНА